

Светлана ТРЕМАСОВА

КАК ДЕЙСТВУЕТ БОГ

Р а с с к а з

Интересно, когда кто-то выкладывает в интернет фотографию своего кота и делает надпись — например, «Нализался» или «Моя толерантность безгранична...», ну или другую какую-нибудь фразу, которую будто бы произносит эта застывшая на фото мордашка, — он же понимает, что кот так не думает и его морда выражает что-то совсем другое? Но многим кажется, что это ерунда. Хозяину нравится, друзья умиляются, а через пару дней все об этом забудут... А вот о чем думал кот в тот момент, мы все равно не узнаем никогда.

Практически у всех нас есть привычка не вникать, не слушать и не понимать, а думать, как нам хочется, — за кота, за соседа, который не так взглянул, некоторые и за жену, мужа, и за своих детей придумывают, и даже за самих себя сочиняют то, чего на самом деле не чувствуют. А потом удивляются, что все совсем иначе. Но мы всегда сложнее и интереснее, чем то, что приходит нам в голову.

Однажды я попала на работу к бандитам. Слушать их мне было страшно, а думать мне за них было нечего. Потому что если бы я стала за них что-то придумывать, то по большей части плохое, и от этого мне было бы еще хуже, я бы испугалась, осталась бы без работы или дергалась бы там каждую минуту, начала бы строить оборону, нож бы держала где-нибудь под рукой, термос с горячим чаем, чтобы, если что, выплеснуть... Или совсем свихнулась бы с перепугу, начала бы подпиливать решетку на окне и тряслась бы зайцем в клетке. Но вовремя опомнилась. Вернее, поняла, что чутье у них волчье: будешь бояться — будут пугать, будет нож — будет провокация. Мол, что, решила свои силенки попробовать? Ну давай, давай... Хочешь рискнуть с ножом на человека? И тут блеснет лукаво волчий глаз: так, может, мы с тобой одной крови? Братаемся? Подписываешься?

А я и вправду была как в клетке: вход, поворот налево, там справа за углом узкий коридор, а в самом его конце — дверь в мою комнату.

То есть не миновать моих хищников ни при входе, ни при выходе. Никак. Первый этаж, конечно, радует, но на окне решетка. Да такая, что фрамуга открывается только сантиметров на пять, остальное вообще открыть невозможно.

Самая крепкая дружба у меня тогда была с утюгом. Утюг — не знаю, каких времен, — был старше и, как я себе придумала, мудрее всех паханов. Тяжелый, почти как чугунный, но электрический. Швейная машинка, на которой я шила, была пушинкой в сравнении с ним. И нагревался он долго, поэтому для работы приходилось постоянно поддерживать его в более-менее теплом состоянии. Даже если однажды он перестал бы работать от электричества, его можно было бы нагревать на плите, но и в этом случае он не потерял бы своего величия — казалось, гладить одежду было его дополнительной функцией. Конечно, вряд ли я смогла бы им кого-нибудь ударить — он был слишком тяжелым, но я твердо верила: если вцепиться в него при опасности, это уже поможет, как будто ты зацепился за якорь, и тебя уже не унесет. Даже если я просто схвачу его и прижму к себе — вместе мы точно справимся, даже если будет невозможно предпринять какие-либо действия. Его присутствие согревало меня: мне казалось, что у меня есть защита, тайный покровитель — видимый всем, но и невидимый одновременно. А в промозглые, холодные дни в преддверии отопительного сезона он отогревал мои замерзшие руки.

Когда-то давно мама научила меня шить, укорачивать брюки и менять молнии, но швейную машину Janome я увидела впервые, когда пришла сюда устраиваться на работу. В тот день швеей в это ателье по ремонту одежды пришла устраиваться еще одна молодая мама. Она отсидела дома декретный отпуск, но на швейную фабрику, где работала раньше, возвращаться не захотела. Оглядевшись в помещении, где мы оказались, она, подумав, решила, что работать здесь не хочет. Я обрадовалась и спросила, знает ли она, как общаться с этим японским чудом и еще с оверлоком, с которым я вообще ни разу в жизни не сталкивалась. С машиной все оказалось просто — я сразу поняла, что и как, а к оверлоку мы нашли инструкцию, и я успокоилась, что разберусь. Потом моя мимолетная подруга ушла, и я осталась одна. Мне очень нужна была работа.

Взяли меня, можно сказать, не глядя. Пришла директор, по совместительству бухгалтер и кадровик, спросила, согласна ли я работать с девяти утра до шести вечера за тридцать процентов от выручки, показала преёскурант на ремонт и пошив одежды и сказала, что завтра с утра я могу выходить.

В первый день я, конечно, осваивала оверлок. Училась по инструкции его заправлять и регулировать. Под большим раскройным столом я нашла короб с обрезками ткани, в основном черной.

То, что утюг — единственное одухотворенное существо среди всех находящихся здесь вещей, я поняла еще и по интонации хозяина ателье (буду называть его Седой). Через день после начала моей работы он пришел ко мне знакомиться и представил утюг отдельно. Вернее, спросил, как мне нравится этот утюг. Я сказала, что он очень хороший. Седой

улыбнулся, глаза его засияли, и он рассказал, что нашел утюг на каком-то заброшенном складе и сразу понял: это настоящая вещь. Я была с этим согласна. У меня дома стояла ножная машина «Зингер» на чугунной станине, и на ней, в отличие от Японии, можно было прошить все — от тончайшего шелка до овечьего полушубка.

Еще дома у меня был сын, который ходил в детский сад. Как матери-одиночке мне выплачивали пособие от государства — сто двадцать рублей в месяц. Это в те годы была цена одного килограмма мяса.

На эту работу меня направили из центра занятости населения. Там не хотели ставить меня на учет и выплачивать пособие, потому что на стенде было несколько вакансий: укладчик асфальта, монтажник, слесарь, красновщик, уборщица и швея. Во дворах, как новое, еще непонятное знамя, колыхалось первое десятилетие двадцать первого века. Мужчины у входа ругались, что женщины отнимают у них работу и сбивают им все расценки, потому что идут дробить асфальт, а женский труд в то время оплачивался ниже. «А почему женщины идут дробить асфальт?» — спросила я у них, и они замолчали и пошли курить в слякотное, хмурое начало зимы. Я выписала все адреса, где нужны были уборщицы и швеи... Вечером, перед сном, я долго смотрела на названия этих учреждений и пыталась просчитать свои шансы на спасение от отбойного молотка.

Название этого ателье мне в ту ночь приснилось.

Мне очень нужна была работа, а когда нам что-то очень нужно, мы часто не замечаем, да и не хотим замечать то, что нас окружает. Мы раскрашиваем мир в свои краски, придумываем за него хорошие мысли, даже если он откровенно давит нас своей серой, воюющей безысходностью. И сначала я будто бы не заметила ту печальную бесприютность. В этих людях она как воздух, как аура, которая наполняет их и пространство вокруг них. Как будто всегда есть царапина, сквозь которую все утекает. Как будто почва всегда сыпется под их ногами или уползает из-под ног. Они знают, что ввязались в такую игру, в которой нет и не будет ничего спокойного и стабильного. У них нет места, чтобы отдохнуть, нет человека, которому можно верить.

Я стала чувствовать все это ярче, когда держала в руках их одежду. Чаще это были спортивные костюмы, а в холода еще и куртки, в которых они где-то ходили по делам, бежали, прятались, дрались, выпрыгивали на ходу из машин или вагонов... а потом вспоминали об этом, крутя четки юркими пальцами. Они рассказывали мне об этом, пока я разглаживала рваные края и сшивала их на заплатку. Не о том, где и что они делали, а как ловко у них получилось увернуться, выпрыгнуть и еще что-то там успеть и какие они смелые парни. Рассказывали с приятным осознанием того, что царапины, фингалы, шишки и тем более сломанные носы и руки, которые я вижу, основательно подкрепляют их слова, и считали себя в этот момент героями.

Одежда их тоже часто рвалась не по швам, и, штопая эти дыры, я думала о том, как схватили и дернули ее, чтобы вот так порвать, — за грудки, за полу или за рукав, — и чувствовала запах погони: запах ветра,

запах колес... и страха, который, повышая градус адреналина, перерастает в пьянящий восторг хищного азарта. Его искры блестели в глазах этих людей. Описывая свои приключения, они говорили о том, как влечет, поглощает их и как нравится им гореть в завораживающем огне этой страсти.

Одежда у них практически всегда была черная. Все оттенки черного. И качественная, не дешевая.

Но я старалась не слушать их слов и ни о чем не спрашивала. Я не хотела впускать их в свое сердце. Они приходили сами. Даже директор — высокая молодая женщина с идеальным овалом лица, которая хозяйничала там, как надзиратель, — однажды зашла, разозленная на «этих идиотов», схватила со стола длинную клетчатую юбку, которую я дошивала, и стала прикладывать к себе возле зеркала со словами: «Ты хоть знаешь, с кем ты работаешь?» Я промолчала. И она произнесла название самой жестокой преступной группировки, которая в девяностые годы приводила в панический ужас всех жителей нашего города. Они занимались рэкетом, грабежами и убийствами. Все истории про самые жуткие смерти и издевательства и самые громкие разборки между «стаями» были о них. И сейчас я работала с теми из них, кто выжил после тех разборок и «чистки» правоохранительными органами.

Я сказала, что к ее черной кожаной косухе и высоким сапогам очень подойдет красная плиссированная юбка в клетку длиной ниже колена. Она покрутила юбку и сказала: «Нет, я хочу носить форму». Она училась заочно на юриста и по окончании вуза хотела пойти работать в милицию. «Вот они где тогда все будут у меня, эти голубчики!» — крепко сжала она свой сухой кулачок.

Однажды здесь появился Валера. Он стал ночевать в большой комнате, в которой размещался магазин. Она находилась сразу направо от входа. Там на стеллажах лежали рулоны рабочих тканей: брезент, саржа, суровая бязь и другие, из которых где-то в тюрьме заключенные шили спецодежду. Образцы висели здесь же, на напольной стойке: халаты, комбинезоны, фартуки, рукавицы... Ткань и одежду в магазине можно было купить или заказать.

Каждое утро Валера отрывал кусок от белого вафельного полотна и умывался в подсобном помещении, а вечером перед сном выбрасывал свое полотенце в урну. А если до вечера терял его где-то в комнатах, то отрывал новое. Теперь по утрам, когда я приходила на работу, в коридоре пахло свежей водой из крана и зубной пастой.

Валера никуда не выходил, он прятался. В воздухе мелькали фразы о том, что его все равно посадят.

Валера был дурной. Примерно через неделю после своего поселения он стал наведываться ко мне и, пока я работала, ходил за мной и без конца о чем-то рассказывал. Сначала о том, как они крышуют рынки, как собирают деньги и берут все, что захотят, — любую еду и одежду, но я его не слушала. Тогда он начал говорить о шикарных домах, где можно жить и ни в чем себе не отказывать... Мне было все равно. Потом стал звать

меня с собой, говорил, что у него есть большой дом и много денег, потому что он как раз недавно провернул одно серьезное дело. Я ответила, что мне не нужно. Через несколько дней он иссяк и стал просить меня сшить ему лепень. Я не знала, что такое лепень. Валера крутился, объяснял, наконец я поняла, что он хочет костюм — штаны и куртку из льняной ткани. Просил снять с него мерки. Я сказала: «Принеси ткань, потом разберемся». Ткани у него, конечно, не было, и на следующий день он принялся мне угрожать. Стал говорить про дачи, куда они возят каких-то девиц, и что меня тоже могут вот так увезти, а там закатать в асфальт, и никто никогда не найдет. Меня начинало трясти. А он стал показывать мне свою бейсболку, которую ему якобы надо зашить или ушить... Я чувствовала, как меня пробивает мелкая предательская дрожь. Скопившиеся эмоции, которые я долго сдерживала как могла, все-таки прорывались, хотя я все еще изо всех сил пыталась их подавить. И чтобы не показать этого, я дрожащими руками выхватила бейсболку из рук Валеры, швырнула ее за дверь и процедила: «Иди отсюда». Он вышел, а я быстро захлопнула дверь и вцепилась в утюг.

Дверь не запиралась, и я знала, что на тот момент мы с Валерой были одни. Я уже готова была заплакать, сказать, что я маленькая и несчастная, что я всего боюсь — и отстаньте все уже от меня, я устала и не знаю, как жить и куда от этого всего бежать... Но мне надо было выдержать и хотя бы не заплакать, любыми средствами сделать вид, что мне все равно и, главное, что мне не страшно... Я уже поняла: этим людям нельзя показывать, что ты боишься или не знаешь, что делать, что ты подвержен влиянию и тебя легко сдвинуть с точки опоры. Я должна быть как утюг: молча делать свое дело и не бояться. Ведь утюг — не фраер, его невозможно обмануть.

Вскоре я услышала, как пришел Седой, и Валера, встретив его в коридоре, стал канючить, что ему надо то и надо это, что его и так здесь торчать достало... Седой ответил, что тот сам виноват, нечего было светиться, и они закрыли за собой дверь магазина...

Так вот она, эта щель, сквозь которую все утекает. Это жалость к себе. Расплачься я, и все, что я до этого делала, с этими слезами утечет моментально и необратимо. Валера довольно улыбнется: ну вот, и тебя зашкаливает так же, как и всех нас. Ведь это жалость к себе заставляет его желать того, чего у него нет: власти, денег и всего, что только можно иметь. От жалости к себе мы потакаем своим слабостям, оправдываем свои самые страшные поступки или впадаем в депрессию. Жалость к себе — это маленькое зарешеченное окно, сквозь которое утекают все наши силы, все наше время и то, что могло бы нам пригодиться, чтобы сделать свою жизнь лучше и ценить то, что есть. Только Бог не жалеет себя, Он знает, что живет вечно.

Вечером, когда я уходила домой, Седой вышел вместе со мной и спросил, сильно ли достал меня Валера.

— Может, его наказать?

Конечно, он знал, что Валера давно меня достает...

— Ладно, пусть живет... — пошутила я.

— Пусть живет... — усмехнулся в ответ Седой, и иглой прошла возле моего сердца его теплая и печальная улыбка.

Я спешила домой в тот обычный темнеющий зимний день, вдоль зданий, расставленных как домино — то стоя, то набок, по дворам с желтым фонарным светом, пролитым то тут, то там, и впервые осознала, как много за этой фразой стоит реальных людей и их покалеченных жизней. «Пусть живет...» Как же нам хочется быть повелителями, пусть даже мух, и, взяв в руки тапок, сперва долго гонять жертву, пока у нее не иссякнут силы, потом лупить ее по морде и почкам, довести до кровавых слез, а после благосклонно и царственно отмахнуться: а, ладно, лети уж... и победно хмыкнуть друзьям: «Пусть живет!» — проявляя «божественную» снисходительность. И я с ужасом поняла, что уже становлюсь «своей», начинаю говорить на их языке, понимаю больше, чем хотела понимать, знаю больше, чем хотела знать, и делаю то, что не хотела делать, — впускаю их в свое сердце.

Заказы у меня шли очень плавно и практически не скапливались. Но их было мало для того, чтобы у меня получалась хотя бы минимальная зарплата: цены были невысокие, а мне, как и договаривались, доставалось только тридцать процентов от стоимости заказа. Отбойный молоток оплачивался гораздо лучше, но мне пришлось бы брать напарника, чтобы удержать инструмент в руках... В основном я чинила вещи для своих, из стаи, и для жителей окрестных домов. Но в этот омут человеку с улицы, как мне казалось, надо было еще решиться зайти. Частенько какой-нибудь посетитель, добравшись до моей комнаты, испуганно спрашивал: «А что это у вас там происходит?» — когда из-за закрытой двери магазина слышались пьяные голоса. «Совещание», — отвечала я. Они так делали, когда им вздумается: вешали табличку «Закрыто», прикрывали дверь — обычно она была нараспашку, — пили и что-то обсуждали.

Однажды ко мне сюда зашел мой знакомый поэт. Он жил рядом. Его балкон на девятом этаже я могла видеть в свое мутное зарешеченное окно — серый, неуютный, испачканный голубиным пометом, как будто не жилой. Поэт иногда выходил на него покурить, когда писал в газету очередную статью, но я ни разу этого не видела. В основном он ходил в гости к друзьям и в магазин за водкой, а по дороге сочинял стихи. Ко мне он иногда тоже заглядывал. Домой. Сидел у меня на кухне, весь в черном и сером, с бледным, худым похмельным лицом. Узкий и длинный, как старая деревянная кукла-арлекин на шарнирах, лицо которой поблекло от времени, а цветной наряд истлел, и пришлось сшить одежду из печальных остатков, что были в коробке. Но порой глаза лукаво поблескивали, когда каждый свой ход по жизни и ее ответный ход он комментировал саркастической шуткой, и тогда, казалось, иронично позвякивали где-то рядом бубенчики от потерянного колпака. Он играл в шахматы — с собой, с этим миром, с друзьями и иногда с моим сыном, а мне он читал свои стихи, и тогда большая черная слеза подкатывала к узкому горлу Пьеро

и застревала в нем красиво и безнадежно. Тогда он быстро вскакивал и отправлялся в магазин.

Сюда, в ателье, он зашел тогда в первый раз. Постоял посередине моей кельи, вытянувшись, как поднятый шламбаум, огляделся: широкий раскройный стол в правом углу, рядом промышленный четырехниточный оверлок, дальше — зеркало и занавески примерочной. Напротив, у другой стены, обычный стол с машинкой Janome и гладильная доска с утюгом. Впереди — серое окно с решеткой, а под ногами голый обшарпанный линолеум с истертыми коричневыми квадратами «под паркет». Вокруг — бледные стены.

— Не нравится мне здесь, — сказал поэт.

— Почему?

— Не знаю.

— Зато посмотри, какой у меня утюг!

— Беги-ка ты отсюда... — ответил он, не глядя на утюг, и заторопился.

Бежать? Боже, как же хотелось бежать! Спрятаться где-нибудь, в каком-нибудь волшебном уголке земли, и хотя бы раз тихо, спокойно уснуть, не думая о том, что будет завтра. Но куда мне было бежать? В самые тяжелые моменты, когда усталость доводила до отчаяния и от тревожных мыслей было невозможно уснуть, в сером мороке полудремы, словно ответ на эту надрывную безнадегу, сверху кто-то незримый, большой и сильный протягивал мне свою руку. Крепкую и надежную. Я видела ее настолько осязаемо, что казалось: стоит только протянуть в ответ свою — и все наконец уляжется, успокоится, решится. Я даже не сомневалась, что меня тут же утянет куда-то вверх и унесет *туда*, о чем я и мечтаю, но каждый раз я останавливала себя, думая, что вот так, одна, я уйти не могу. И успокаивала себя надеждой, что если уж она есть, эта рука, готовая протянуть мне помощь, то, может быть, она поможет мне, пока я здесь, в этом городе, со своим сыном, бандитами, арлекином и другими странными декорациями этого мира. И мечтая о том, что наутро, когда я проснусь, будет все по-другому, я засыпала.

Но наутро ничего не менялось. Мы просыпались в темноте, тяжело и неохотно выбираясь из теплых постелей. Ели разогретую вчерашнюю кашу и шли в детский сад по черно-белой слякотной зиме, по улице с серыми одинаковыми домами. Потом я шла на работу — быстро, глядя, как под коротким полушубком шагают мои ноги в узких джинсах и черных высоких сапогах. Сапоги мне нравились. Из прочной поблескивающей кожи, с небольшим, в пару сантиметров, широким каблуком. Их мне отдала женщина из соседнего двора. Она уезжала из этого города и раздавала вещи. Столкнулась я с ней совершенно случайно, по пути из магазина. Она просто подошла и спросила, не нужен ли мне натуральный полушубок. Я тогда мерзла в старом пальто из плащовки, подбитом коротким искусственным мехом. Полушубок оказался пятидесятого размера с рукавом реглан и, по-хорошему, должен был заканчиваться где-то на середине бедра, но на мне он повис вытянутым вниз пузырем и прикрыл

как раз все что надо, чтобы было тепло. А вот сапоги оказались впро-
ру. Полушубок я перешивать не стала, решила, пусть будет у меня стиль
такой — повисший на плечах светло-серый мутоновый пузырь и узкие
джинсы. В ту зиму мне очень повезло. На себя я шить не успевала, да и
купить себе ничего не могла — надо было одевать сына.

Вакансий по моей прямой профессии все не находилось. В Нацио-
нальном театре, где уже готовились поставить мою фольклорную пьесу,
вдруг появился новый директор, который не знал ни языка, ни древних
сказаний и песен моего народа, отменил весь национальный репертуар и
начал ставить русскую классику. Ни в вуз, ни в издательство устроиться
так и не удалось.

Каждый вечер, подходя к своему дому, на балконе второго этажа я
видела постиранные ползунки и пеленки, белеющие в темноте на фоне
черных окон, — той зимой у семьи с двумя маленькими детьми за неупла-
ту отключили свет. И становилось страшно. При взгляде на ползунки,
трепещущие на ветру, казалось, что в них, как в inferнальную белую
дыру, утекают остатки надежды на лучшее и вокруг только вечная ночь.

Курсы закройщиков, на которые я записалась в центре занятости
населения, откладывали снова и снова. Как мне каждый раз объясняли
по телефону, из-за нехватки желающих они никак не могли собрать ми-
нимальное количество человек для создания группы. Единственное, что
мне иногда еще перепало, это лоскуты ткани — оставшиеся после
шитья излишки от отрезков, которые заказчики не забирали. Отдельно их
ни на что не хватало, но можно было комбинировать друг с другом или
добавлять и перешивать старые вещи. Однажды мне принесли и оставили
целый плащ, еще очень крепкий и очень большого размера, — отдали на
заплатки. Это тоже была удача, я сшила из него для сына отличный ком-
бинезон, пустив на подкладку старые фланелевые пеленки. В общем, я,
как могла, училась кроить и жить.

Потом я увидела, что в нашем магазине среди грубой саржи и бре-
зента появилась белая фланель. Я сказала Седому, что могла бы шить
пеленки, распашонки и женские халаты, вывешивать их у себя в комнате
и продавать, только фланель еще нужна цветная. Он согласился, при-
вез цветную фланель. Халаты я делала с запахом — по нашей старой
семейной выкройке, по которой всегда шила мама, а потом я. Конечно,
ради экономии материала широкий шалевый воротник пришлось убрать.
И халаты стали понемногу продаваться, появлялись заказы на другие
размеры.

...В тот день я налила себе чая, встала у окна и долго смотрела на се-
рый неприятный балкон девятого этажа. Мой друг поэт давно звал меня
в гости поесть суп. Говорил, что суп он готовит лучше всего, очень вкусно.
И вот я стояла и думала, что надо бы позвонить и сходить, и попробо-
вать наконец этот суп, и почитать друг другу новые стихи. Я никогда не
была у него в гостях и теперь пыталась представить, как в хаосе, сре-
ди бумаг и пыльных книжных полок, мы поедаем суп и спорим о Максе
Фрише или читаем вслух рассказы Вампилова... и вдруг увидела на стене

паука. Бегущий паук, я слышала, к новостям, но этот не бежал. И я стала ждать, куда же он направится, вверх или вниз. Я долго смотрела на него, но он не двигался, упрямо сохраняя интригу. Тут в коридоре послышались шаги, и в комнату вошла женщина. Мы были примерно одного возраста. Она принесла дубленку, которая пузырилась на спине, и этот пузырь надо было убрать. Сшита дубленка была частями внахлест, и по логике нужно было просто распороть швы, срезать лишнее и соединить снова. Но я никогда не шила дубленки и начала ссылаться на то, что моя японская подруга не сможет прострочить вещь такой толщины. И отказалась. Но заказчица так долго настаивала, просила, уговаривала, что я наконец дубленку взяла, вспомнив про свою старушку «Зингер», которая умеет все. Когда женщина ушла, паука на стене уже не было.

В тот день я ушла с работы пораньше. Дубленка заняла все мои мысли. Я чувствовала тот раж, который, наверное, чувствует настоящий вор, залезая в чужой карман, то самое несомненное «дзынь», которое повисает в воздухе над твоей головой, отменяет все мысли и длится ровно столько, пока ты не сделаешь дело, зная, что ты его сделаешь четко, потому что это тебе очень-очень нужно. Меня принесло домой волной бездумного вдохновения, и я взялась за работу, не переодеваясь, не глотнув даже чая, чтобы не снять, не смыть, не потерять этого настроения, подстрекаемая еще и тем, что у меня есть максимум два часа до края времени, когда надо будет бежать в детсад за сыном... Потому что если остановишься, то точно испугаешься и уже не сможешь сделать задуманное, а за дубленку цена в несколько раз выше, чем за какие-то укороченные штаны... И вот именно в этот час мой друг арлекин спрыгнул с того самого серого неуютного балкона, испачканного голубиным пометом.

Я плакала, будто вдруг перехватило дыхание, будто нечем стало дышать: захлебываясь, хватая воздух и не принимая его. Не раз в последнее время я думала об этом — что вот есть такой выход. Что он всегда есть. Меня эта мысль даже успокаивала. И в глубоком отчаянии думаешь, что да, он есть, но, может быть, еще немножко можно потерпеть, посмотреть еще чуть-чуть, а вдруг вот уже завтра все как-нибудь перевернется, встанет наконец на ноги, сделается лучше, удобнее, легче, добрее, уютнее, спокойнее — так, как должно бы и быть в этой жизни, иначе зачем же она? И выползаешь потихоньку, как ни странно, потому что есть тыл. Да, вот такой тыл — возможность самостоятельно уйти из жизни... Когда уже другого нет. А он это сделал. Ушел.

Я тогда жила как на войне. Была той лягушкой, скребущей лапками, чтобы выжить. А он дрейфовал на тонущем корабле в ожидании окончательного погружения. Он даже написал стихи о том, как тонет, сигарету покуривая. А я ему ответила тоже стихами, что уже утонула, достигла дна, но пытаюсь барахтаться, чтобы снова всплыть. Его надо было снять с корабля на твердую землю, обогреть, напоить теплым молоком с пряником, а мне нужно было, чтобы рядом со мной кто-то тоже начал барахтаться: делать все сообща, быть во всем заодно и прикрывать друг друга, чтобы выплыть вместе. Наши жизни совпали на какой-то короткий период,

когда он погружался, а я всеми силами пыталась всплыть. Но он барахтаться не стал, сказал: «Ну значит, так надо». Только кому надо? Лишь тем, кто убеждает тебя в этом. Общество, которое раньше ценило поэтов, теперь обесценило их, а вместе с ними себя, а ты, умный, талантливый, повелся на это? Когда человек начинает слишком верить другим, он теряет себя. Если бы я тогда сказала себе, что так и надо жить, как я живу, я бы... не знаю, что бы я сделала, но точно бы не захотела жить. Потому что мне так жить не надо. Эту фразу — «ну значит, так надо» — обычно говорят те, кому все равно, что с тобой будет, и прорастает она ровно в том месте, где нужно сказать «ты сможешь»: у тебя получится, ты построишь, напишешь, узнаешь, увидишь, найдешь, воплотишь и обязательно всплывешь! Надо выпалывать в своей голове сорняки, которые не дают тебе расти.

На следующий день ко мне в ателье пришел милиционер. Он хотел, чтобы я пришила на рукава его зимней куртки лампасы. Не знаю, зачем они ему понадобились. На мой вопрос он ответил, что якобы шов на рукаве протирается и его надо закрыть. Похоже все-таки, что для красоты, ведь ткань у спецодежды очень прочная. Возможно, подобные нашивки он увидел где-то в новостях на куртке у президента. Я подумала так, потому что милиционер был действительно похож на своего кумира и сиял всякий раз, когда видел свое отражение в зеркале. Он явно делал все, чтобы это сходство увеличить: прическа, походка, улыбка. Говорил он со мной почему-то уверенно-назидательным тоном, как взрослый с ребенком, а отвечал на вопросы очень туманно.

Тесьмы для лампасов у меня, конечно, не было, и я показала ему всё, что есть в ателье. Он выбрал широкую неклеевую ленту для подшивки низа брюк и сказал, что она вполне подойдет. Мы нашли ленту под цвет куртки, и я принялась шить, а он — ждать.

Конечно, я уже знала, что арлекин намеренно, выпив водки и написав прощальную записку, шагнул в иное пространство, слился, утек в сияющую белую дыру надежды, куда утекает из этого мира все хорошее. Ведь когда умирают тираны, все свои злые дела они оставляют здесь, а когда умирают поэты, лучшие стихи они забирают с собой. Но когда ты узнаешь, что с этой планеты одним отчаянным шагом свалился твой друг, ты какое-то время не можешь поверить в случившееся. И я стала расспрашивать милиционера, слышал ли он об этом. Он ответил, что даже видел, потому что сам приезжал на вызов. Но ничего больше сказать не хотел или не мог — скорее потому, что и не знал. А я знала больше, чем он. Я сказала ему, что погибший был одним из лучших поэтов нашей республики, что ему приходилось работать в местной газете за гроши да еще и ухаживать за больным отцом и что талант его в нашем городе признавали и в Союзе писателей, и даже в министерстве культуры, но ни разу не издали даже самой маленькой его книги. «Ну надо было работу получше найти...» Работу получше? И я сказала, что я тоже не швея и выбор с моим высшим гуманитарным образованием у меня здесь невелик: или уборщица, или идти класть асфальт. Представьте, говорю я, если вдруг

завтра наш президент подпишет постановление о том, что во все органы охраны общественного порядка будут принимать только хороших поэтов, вы сможете тогда написать хорошие стихи? Настоящие, как Высоцкий хотя бы? Или мы должны осудить и пересажать в тюрьмы всех птиц за то, что они не плетут, к примеру, паутину и не ловят мух, а бесполезно поют свои песни и отказываются при этом идти дробить асфальт? Почему кто-то всегда придумывает за людей, что им надо, как будто люди сами не в состоянии это понять?

Тут глаза у милиционера забегали, видно стало, что разговор ему не нравится и не то что говорить, а и знать обо всем этом ему не хочется, потому что жить по уставу, то есть подчинять и подчиняться, не задавая лишних вопросов, для него гораздо лучше, легче и приятнее, чем писать хорошие стихи. И он, делая вид, что всего этого как бы и не слышал, засобирался, стал меня поторапливать и вскоре ушел.

Что я могу в этом мире, где надежные места имеют только надзиратели и бандиты? При чем эта связка самодостаточна и бесконечна, как лента Мёбиуса...

И да, дубленка — дзынь! — села идеально. Заказчица была рада, даже расчувствовалась и рассказала, что она *тоже* швея, что дома у нее лежит много грамот, что она имеет все самые высшие квалификации...

— Так почему же?.. — Мне казалось, что я провалилась в преисподнюю, где черти развлекаются, заставляя каждого делать то, чего тот никогда не делал, не мог, не умел и не хотел. — Почему тогда вы сами не ушили эту дубленку?

— Я испугалась, — сказала она. — Я так давно ничего не шила, потому что теперь я работаю на стройке, я маляр...

Через день я увидела, что Валера вытер руки новыми ползунками, которые я шила помимо основной работы, чтобы заработать себе на хлеб. А он просто, не задумываясь, выбросил мои труды в мусорное ведро, потому что где-то оставил свой кусок полотенца и было лень его искать...

Я уже было пошла к Седому, чтобы высказать свое возмущение, и много лишнего, возможно, наговорила бы тогда сгоряча, но с этими волками я научилась прежде слушать, чем говорить. И в коридоре я остановилась, потому что почувствовала, что тишина висит напряженная. Видимо, перед этим Седой собрался уходить, но Валера остановил его в последнюю минуту, и они так и застыли вполоборота друг к другу, глядя в угол между входной дверью и дверью магазина.

Я знаю эту тишину. Это страх перед неизбежным. Он плотный, как будто вокруг тебя все пространство состоит из сети тонких запутанных оголенных проводов и каждое твое движение влечет за собой небольшой, как будто и незаметный разряд тока, но этот разряд бьет в каждую клеточку твоего тела, и тело сжимается, будто хочет исчезнуть. Но оно не может не только исчезнуть, но и сжаться-то не может даже до такого состояния, чтобы посмотрели и сказали: да что с него взять, он и сам скоро сдохнет... а это единственное, чего теперь ему хочется, — стать маленьким

и спрятаться в глубине каких-нибудь ползунков, чтобы никто не догадался и не нашел.

Страх шел от Валеры. Он нервно, зажатым движением вытащил из-за косяка над дверью маленькую картонную иконку и стал запихивать ее куда-то поближе к сердцу...

— Что, на себя не надеешься? — сказал Седой, без усмешки, тихо, как будто еле выдавил.

Валера молча проверял, не выпадет ли иконка, и изо всех сил думал о том, что он сделает, если... а может, еще... Много вариантов спасения хочется найти, когда тебя сдавило тисками со всех сторон, и так велико желание воплотить хоть что-то спасительное, что мысли эти как будто начинают толкаться в воздухе и задевать других своими плотными телами.

— Да, все мы смелые, когда идем толпой, а когда по одному — трусливые, как овцы... — продолжал Седой.

— А сам будто не носишь, — прошипел Валера.

Вот теперь Седой усмехнулся:

— Всем нужен вожак. Все мы овцы... даже волки. — И плотно застывшее напряжение покачнулось и слегка поплыло...

Я поняла, что сейчас меня, как эхолотом, прощупает эта качнувшаяся волна и запишет в свидетели, и тихонько вернулась к себе.

Я собрала свои вещи и сказала, что больше здесь работать не буду.

Седой не хотел меня отпускать. Он сказал, что может расширить производство, купить целый швейный цех, если я соглашусь стать главным технологом. Даже обещал мне приобрести появившийся тогда базовый курс 3D-конструирования одежды. Я знала, что могла бы осилить любой конструктор и взять на себя и цех... Но я не хотела искушать судьбу, потому что доверять в этой стае, как и Седой, я могла только старому утюгу. Я поняла, что не хочу никакой стаи. Любой стаи, отары, стада... сообществ, объединений, конфессий... потому что это все только отрицательные или положительные названия одной сути. Человек должен быть один. Даже если с кем-то, то все равно один. Круговая порука лишает его человеческого лица. Когда человек под прикрытием единоверцев, ему начинает казаться, что он всемогущ. А как можно подтвердить свое величие? Только подчиняя и унижая других или уничтожая их, если они сопротивляются. Но когда ты один, не противостояшь, не осуждаешь, а только молча делаешь свое дело и не боишься, все сразу понимают, что доказывать тебе что-то незачем. Потому что Бог — Он всегда один.

В этой истории меня никто не убил, не обворовал, не унизил. Обманула меня только будущий страж закона. Она принесла мне заказ из детского сада — обшить двадцать пять детских покрывал, а деньги за мою работу взяла себе. Потом я увидела ее в детской поликлинике: она нервно одевала своего мальчика — примерно такого же возраста, как мой, — и рассказывала своей подруге о том, что «муж-скотина» сбежал и не хочет платить алименты... И я больше не стала звонить ей по поводу денег за покрывала, наверное, тогда ей они были нужнее.

Арлекина похоронили в какой-то глухой деревне, родственники увезли его больного отца, квартиру продали, балкон отмыли и застеклили. Ни одно издательство не берется печатать книги мертвого автора: во-первых, потому, что никому не принадлежат авторские права, во-вторых — кто их будет раскручивать, чтобы продать, тем более что продолжения не будет. Друзья скинулись и на свои деньги отпечатали их в типографии по пятьдесят экземпляров, сделали пару камерных вечеров памяти, на которых книги распродали своим знакомым и знакомым знакомых... и дорожка земной жизни арлекина стала тихо зарастать травой, переходящей в густой бурьян. Его стихи, романы и пьесы медленно утекают от нас в белую дыру вечности — туда, где, наверно, умеют ценить красивые души.

Потом, уже много лет спустя, в Москве, я пришла на презентацию книги. Парень сидел в тюрьме одной из южноазиатских стран за то, что ограбил там банк, а после, когда вышел из заключения и вернулся в Россию, написал об этом. Выступал по большей части его соавтор, который, вероятно, и писал книгу со слов этого парня. Сам герой вел себя довольно сдержанно, вокруг него вились кураторы и девушки, чтобы отвлечь людей, желающих с ним пообщаться, или подсказать ему нужное слово — он четырнадцать лет говорил на английском и некоторые русские слова теперь вспоминал с трудом.

От него тянуло знакомым: колесами и ветром, холодным неудобом, бесконечным сквозняком, от которого не убежать даже во сне. Не той оптимистичной веселостью, которой живут путешественники, не восторгом от свободы безграничных просторов и возможностей, не драйвом от взаимодействия с природой и людьми, а тем замкнутым пространством, которое всегда, в любом месте незримо присутствует вокруг этих людей, где болезненно зияет трещина и непрестанно сквозит неутолимая жажда наживы. Эта жажда привлекает новых жаждущих, и они начинают плести свои сети: сделают из преступника притягательного брутала, сотрут слова «татуировщик с зоны» и напишут «художник», замажут «вор» и напишут «писатель», раскрутят книгу, чтобы получить за это как можно больше денег.

Мне едва удалось поймать момент, когда он был не под прикрытием своей группы поддержки. Я задала ему только один вопрос: что толкнуло его на такой риск? Он выдохнул и ответил: «Да что... адреналин зашкаливает...»

